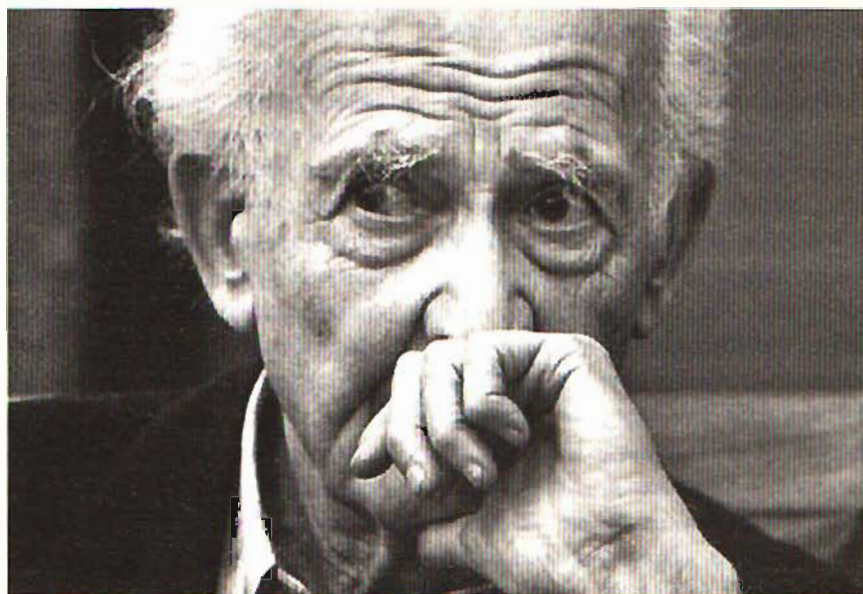


Образ и **З**менчивого мира



В 1968 – 1971 годах Зигмунт Бауман работал в университетах Тель-Авива и Хайфы. С 1971 года – профессор Университета Лидса. С 1990 года – заслуженный профессор. В сентябре 2010 года в Университете Лидса был организован Институт Баумана.

Зигмунт Бауман известен своими работами в области истории британского социалистического движения, оснований социологического знания, проблем глобализации, специфики модерна. Он показал особенности современного общества как предельно индивидуализированного и исследовал сущность Холокоста как проявления одной из характерных тенденций современной культуры.

ТЕЧЕНИЕ МОДЕРНА: ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА

Думаю, что собравшиеся знакомы с понятием «текущий модерн» – или, иными словами, быстроизменяющейся современности. Сегодня идут серьезные теоретические споры о том, какой термин может наиболее точно обозначить тот глоболизирующийся мир, в котором все мы с вами живем.

Понятие «текущий модерн» («liquid modernity») – это, конечно же, метафора. Отличительной характеристикой любой жидкости или любой текущей субстанции является то, что она не способна сохранить своего состояния надолго, меняясь под влиянием даже малейших сил. Таким образом, подобные субстанции все время находятся в состоянии перемен. Лично я предпочитаю понятие текущего модерна другому, которое нам также часто приходится слышать, а именно – понятию «постмодерн», так как понятие изменчивого, текущего модерна в отличие от постмодерна несет положительный смысл.

Постмодерн выдвигает идею о том, что современность – это уже не та эпоха модерна, которую мы знаем, а своего рода отрицание модерна. Указывая на факт некоего изменения,

21 апреля 2011 года

в Москве, в клубе

«ПирОГИ на Сретенке»,

в рамках проекта «Публич-

ные лекции Полит.ру»

Зигмунт Бауман выступил

с лекцией на тему

«Течение модерна: взгляд

из 2011 года». Лекция

была организована со-

вместно с фондом

«Стратегия 2020».

Зигмунт Бауман – крупный современный мыслитель, известный в международных научных кругах социолог и философ. Родился в 1925 году в Познани (Польша). В годы Второй мировой войны его семья эвакуировалась в СССР. Будучи коммунистом, Зигмунт Бауман воевал в составе Армии Людовой. После войны вернулся в Польшу и начал учиться социологии и философии. Среди его учителей были такие ведущие польские философы и социологи, как Станислав Оссовский и Юлиан Хохфельд.

С 1954 по 1968 год Зигмунт Бауман работал в Варшавском университете. Был ассистентом профессора Хохфельда, а потом фактически исполнял его обязанности. Стажировался в Лондонской школе экономики под научным руководством Роберта Маккензи.

Зигмунт Бауман постепенно отходит от ортодоксальных взглядов, испытывая заметное влияние Антонио Грамши и Георга Зиммеля, одновременно пересматривая и свое отношение к коммунистическому проекту. Это отразилось на академической карьере Зигмунта Баумана, а затем и побудило его эмигрировать.

данное понятие очень мало объясняет нам то, в чем же именно состоит принципиальное отличие эпохи модерна от той, в которую мы живем сегодня.

Мне кажется, что самая важная черта современного периода состоит в *ненаправленности* перемен. Сегодня, как никогда прежде, сложно сказать о том, что происходящие перемены имеют какое-то заранее определенное направление – они застают нас врасплох, мы их не ожидаем и не предвидим. Поэтому мой основной тезис состоит в том, что эпоха Нового времени, или модерн, может быть разделена на два этапа, между которыми одновременно существуют и четкая преемственность, и некоторый разрыв.

Постараюсь в нескольких словах объяснить, что я имею в виду.

Обе разновидности модерна динамичны, беспокойны и не могут устоять на одном месте. Можно даже сказать, что, согласно имплицитной философии, существовать – это значит расти. Мы не можем себе представить, чтобы наше общество не стремилось к тому, чтобы продвигаться дальше относительно его настоящего уровня развития. Существовать – это расти, изменяться все время. Именно это соединяет два этапа современности.

Но есть, как я уже сказал, также и разрывы, отличия между ними, состоящие в том, что наши отцы и деды считали, что непрерывное изменение условий жизни – это временное явление, временные заботы и хлопоты, затруднения, которые они встретили на определенном историческом этапе своей жизни, а потом придет время отдыха. Например, самые значительные экономисты XIX века не занимались проблемой экономического роста, для них он представлял собой только временный эпизод истории. Предположение теоретиков экономики XIX века состояло в том, что мы занимаемся производством, строим новые заводы, увеличиваем эффективность труда для того, чтобы удовлетворить определенные нужды и потребности человека. А нужды человека можно научно подсчитать, потому что это величина постоянная. Мы можем подсчитать, сколько нужно новых заводов, чтобы удовлетворить все име-

ющиеся у человека нужды. И вместе с их строительством беспокойство и беготня, которые мешают нам спокойно жить, придут к концу. Таким образом, идеал экономики XIX века состоял в стабильной экономике, из года в год воспроизводящей то же самое рутинное производство.

Вот именно это и изменилось. Мы просто перестали надеяться на то, что эти изменения когда-нибудь закончатся. Сегодня мы понимаем, что устойчивая экономика не является эффективной и что мы в принципе ее никогда не создадим по многим причинам. Одна из самых главных причин состоит в том, что вопреки ожиданиям человеческие нужды не являются постоянной величиной. Чем больше они удовлетворяются, тем быстрее они растут. Экономика не обеспечивает полного удовлетворения человеческих потребностей, так как она сама направлена на формирование новых нужд и потребностей, которых не было ранее.

Рекомендуемая жизненная стратегия сегодня – это то, что на английском языке звучит как *flexibility* – гибкость и подозрение ко всем долговременным обязанностям. Рекомендуется не принимать долгосрочных обязательств, потому что они будут ограничивать новые шансы, новые возможности, которые неизбежно появятся в будущем. Поэтому наиболее честно было бы раскрыть *flexibility* как мягкотелость, бесхарактерность – не проявление лояльности к чему-либо, к какому-либо способу жизни, к какой-либо идее, так как идеи тоже изменяются из года в год, – нужно быть открытым и не закрывать ни одной опции выбора, который вы когда-либо должны сделать.

В конце концов, что же отличает нынешний текучий модерн от старого и твердого? Полагаю, это то, что *современность лишена иллюзий*. Мы пришли к выводу, что то, на что надеялись наши предки, было иллюзией. Они считали, что возможно достигнуть состояния полного удовлетворения всех нужд человека, полного счастья, можно сказать, совершенного состояния общества. Совершенное состояние, как известно, – это такое состояние, для которого всякая дальнейшая пе-

ремена будет переменной к худшему. Таким образом, это хороший сигнал к тому, чтобы воздержаться от каких бы то ни было дальнейших перемен – чтобы не случилось ничего нового.

Я хочу поделиться тем, что мне пришло в голову в течение последних десяти лет. Новое наблюдение (возможно, это не новое положение, которое только недавно сложилось, а новое понимание нашего состояния) состоит в том, что коротко можно выразить понятием «*interregnum*». В переводе на русский язык оно означает что-то вроде «междущарствия» или «междувластия».

Если почитать «Тита Ливия» Макиавелли, то там найдутся очень подходящие истории. Тит Ливий описывает создание Рима, первым властелином которого был Ромул, управлявший Римом в течение 38 лет – это очень долгий период. Он был первым властителем, никакого опыта тогда еще не было. И когда он умер, то, согласно легенде, отправился прямо на небо. Наступило что-то вроде всеобщего и полного ослепенения: что делать? Все законы, которые существовали в Риме до этого, казались людям несущественными, так как были тесно связаны с личностью Ромула. И теперь не было лидера, который мог бы подтвердить или отменить те первые законы в истории Рима, которые Ромул установил. Первый период междущарствия был после смерти Ромула. Один год, разделяющий его исчезновение и приход к власти второго царя – Нумы.

Это был первый период, к которому применили понятие *interregnum*. Что особенного в этом периоде: старые законы уже не действуют, а новых еще нет. Старого властелина, который надзирал за исполнением права, уже не существует, и никто не знает, каковы будут решения, принятые новым, потому что даже личность этого нового не известна. С течением времени понятие «*interregnum*» приобрело различные расширенные значения: это не только период между двумя царствованиями, это также перерыв между ломкой старого порядка и возникновением нового. В.И. Ленин, как известно, говорил о революционной ситуации, которая очень напоминает *interregnum*, так как означает, что

прежняя власть уже не может править по-старому, а народ уже не хочет быть управляемым по-старому.

Современный смысл понятия «interregnum», которым я хочу пользоваться применительно к сегодняшнему дню, сформулировал итальянский философ А. Грамша, который воскресил это древнеримское понятие и определил его таким образом: старое уже не работает, а новое еще не народилось. Или народилось, но мы его еще не замечаем, потому что этот новорожденный скулит так тихо, что мы его не слышим. Мы находимся в периоде interregnum, состоянии неуверенности, будущее непредсказуемо, мы даже не знаем, как предвидеть развитие событий.

Если это так, то возникает вопрос: что устарело, а что должно родиться, но еще не родилось в нашем случае? По моему мнению, что устарело – так это временное устройство, аранжировка, так сказать, общественного порядка, который в течение последних двух столетий более или менее опирался на то, что существует тесная, неразрывная связь – синтез между территорией, нацией и государством. Второй синтез, тоже принятый как предпосылка, не подлежащая сомнению, – это то, что соединены между собой, живут под одной крышей политика и мощь.

Я пользуюсь термином «мощь», который является, по моему мнению, русским эквивалентом немецкого понятия *Machte*, введенного М. Вебером, переводимого на французский как *puissance*, на английский – *power*. Но власть содержит в себе и *Machte*, и *Staat*, государство и мощь, политику и мощь.

Мощь – это возможность действовать. Не только думать, размышлять, но и делать. Политика, с другой стороны, – это понятие, обозначающее возможность принять решение. Оба этих ингредиента – составные части власти в течение двух последних столетий. Так было принято, они должны жить в состоянии брака, и местом их совместного проживания было национальное государство. На этом уровне политика была адекватна существующей мощи. С другой стороны, мы все зависим друг от друга: со-

бытия, происходящие в Малайзии или Бразилии, имеют влияние на жизненные возможности и наше будущее. Все мы связаны, и в этих условиях старый синтез, который действовал более или менее эффективно на протяжении довольно длительного времени, просто уже неприменим сегодня.

Случилось что-то невообразимое еще 60 – 70 лет назад: развод и разделение между политикой и мощью. Мощь переместилась в надгосударственное пространство и вышла из-под политического контроля. Глобальное пространство, названное М. Кастельсом, очень умным испанским социологом, пространством переплывов, пространством движения, свободно от политики, там нет политического контроля, нет того, кто определяет выбор вещей, которые должны быть сделаны. Но если значительная часть мощи испарилась в это новое пространство, то политика осталась местной, локальной, как и 100 лет тому назад, она остается политикой национального государства. Так как значительная часть ее мощи исчезла, уже не контролируемая решениями правительств национальных государств, те функции, которые государство обещало исполнить, попросту перерастают возможности современного государства. Это стало слишком большой нагрузкой для местной, локальной связки между государством, территорией и нацией как последними инстанциями власти.

В связи с этим я бы хотел предложить следующее: состояние interregnum порождает важный вопрос, который состоит не в том, что надо делать, а в том, кто это делает? Потому что инструменты эффективного действия ограничены по сравнению с глобальными задачами, которые перед нами стоят. Так что я бы навал это *инструментальным кризисом, кризисом орудий*. Нет у нас таких стабильных структур, которые могли бы пытаться если даже не решать задачи, то хотя бы определять направления событий, исторического развития.

То, что происходило до сих пор, – это глобализация, которая во всех отношениях является глобализацией негативной, глобализацией сил,

которые специализируются на игнорировании государственных границ, местных интересов, прав, предпочтений и т.д. Те силы, та мощь, которые глобализовались до сих пор, – это все-таки те, которые продолжают уменьшать мощь, способность национальных государств к действию. Это финансы, торговля, которая глобализовалась, это информация, а также уголовные организации (мафии всякого рода) – торговля оружием, наркотиками, международный терроризм.

Что не случилось еще, что не родилось еще – это изобретение каких-то глобальных эквивалентов того, чего наши предки достигли на уровне национального государства, – какие-то формы представительства народных интересов, какие-то наднациональные формы уголовного кодекса, правовой системы, т.е. того, на что Монтескье разделил власть в народных государствах, которые будут созданы в будущем, – на три взаимосвязанные части: государство, исполнение права и судебная система.

Ничего такого на глобальном уровне нет. Мы часто слышим о международном сообществе (*community*), но, конечно, это тоже иллюзия, попросту ложь – ничего такого не существует, нет никакого международного сообщества. Мы слышим иногда о международном праве, но его тоже не существует. Существует право, производное от международных соглашений, которое можно сравнить с тем кошмаром, который случился бы в Москве, если бы правила уличного движения запрещали бы движение машин на красный свет только при условии подписания некой международной конвенции. В противном случае вы свободны игнорировать красный свет и двигаться в любом направлении.

В результате – слабое государство без достаточной мощи, чтобы нести на себе весь неимоверный груз функций, которые оно еще 150 лет тому назад обещало своим гражданам исполнять. Защищать их перед, например, различными сюрпризами жизни: утратой средств к существованию, личными катастрофами различного рода. Никакой честный политик ныне

не может обещать то же самое. Напротив, то, что мы видим на протяжении последних 20 – 30 лет, – это очевидное стремление всех правительств передать функции, которые прежде принадлежали государству, другим агентам.

Наблюдается горизонтальное движение некоторых функций к рынкам, которые по определению свободны от политического вмешательства и являются неполитическими сущностями, или скатывание их вниз – то, что мой коллега Э. Гидденс называет «жизненной политикой». Это такое дивное, неожиданное явление, это такая сфера, в которой каждый из нас одновременно является парламентом, правительством и наивысшей инстанцией верховного суда. Так что все эти три элемента, о которых говорил Монтескье, есть в жизненной политике каждого индивида; если вам не удастся достичь своих целей – не к кому идти требовать возмещения, потому что это ваша вина, вы как индивид не справились с этой задачей. Это, конечно, очень жесткий постулат, большинство из нас не в состоянии соответствовать ему.

Мы все теперь стали из-за исчезновения некоторых функций государства «индивидами де юре». Между индивидами де юре и индивидами де факто – большое расстояние. Де факто мы можем стать индивидами, если у нас есть такие реальные возможности, но этого нельзя сказать о неимоверном количестве граждан каждого известного нам государства. Так что это результаты развода между мощью и политикой.

Последствия этого развода создают *положение неуверенности*, которое является, по-моему, самой болезненной проблемой наших времен. Неуверенность, которая распадается на три части: с одной стороны, мы попросту не в состоянии увидеть, какие последствия повлекут наши решения в будущем, мы не знаем даже всех предпосылок (мы молча их принимаем) нынешнего состояния вещей – как они изменятся в будущем. Инвестирование в будущее становится очень трудной и рискованной задачей. Дело в том, что если вы примете решение, которое связывает вам руки и ноги на

долгие годы, тогда, конечно, в этой быстро меняющейся действительности новые возможности, которые появятся в будущем, будут для вас недоступны, ибо вы окажетесь связаны обязательствами, которые вы взяли на себя давным-давно. Так что из этого незнания, недостатка данных о состоянии ситуации и будущем развитии вытекает нерешительность.

Очень примечательным признаком нашего времени является то, что молодые поколения стараются откладывать важные решения как можно дольше: выбор направления учебы, факультета, специальности. Лучше всего, чтобы он был всесторонним. Узкая специальность – это залог затруднений в будущем, риск того, что спрос на вашу узкую специальность исчезнет: завтра вы окажетесь без работы.

Так что нерешительность – неизбежное следствие недостатка знаний. С другой стороны, в этом содержится *смысл беспомощности*. Даже если бы я обладал всеми необходимыми данными для принятия важных долгосрочных решений, у меня не хватало бы сил и ресурсов, чтобы пользоваться этим моим знанием. А если я абстинент, если я импотент, если мне не хватает знаний, эмоций и действительности в моих предприятиях, тогда приходит еще третий элемент – *унижение*. Я чувствую себя неадекватным существующим требованиям. У других людей есть положительные результаты работы, я же один из отбросов прогресса, который происходит на моих глазах. Из этого вытекает, что я попросту нахожусь на более низком уровне по сравнению со всеми остальными индивидами. Джон Грей, английский политический философ, говорит, что правительство современного государства не знает заранее, как отреагирует рынок, поэтому оно действует вслепую (*act blind*).

Раньше было понятно, что люди, являющиеся представителями отсталых культур, будут делать все возможное, чтобы вознестись к высотам культуры, достигнуть их. Так что если прибывали мигранты из других стран, никто серьезно не занимался размышлениями над искусством совместной жизни с другими, иными людьми,

потому что их отличия в культуре, религии, языке, историях, которые они рассказывают о своем прошлом, – все это временно. Скоро они станут буквально такими же, как мы сами. Эти отличия, которые затрудняют коммуникацию между нами, просто исчезнут. Если это только временная загроzdка, так зачем тратить наши силы и мысли на размышления о том, как можно жить совместно и полезно для всех сторон, которые включены в это сожительство, как можно выработать такие средства совместной жизни?

Ханна Арндт хвалила Лессинга, одного из пионеров германского Просвещения, за то, что он был одним из первых философов, который осмелился предвидеть, что различия между людьми будут с нами до конца мира. Они не исчезнут, они не временное явление. Эта разнородность человеческого рода будет длиться так долго, как существует само человечество. Она хвалила Лессинга также за то, что он радовался перспективе, всегда жить в ситуации разнообразия, предпочитая разные вещи, любя разные способы жизни, потому что Лессинг верил, что все развитие культуры, все творчество возникает в ситуации разногласия. Он боялся консенсуса, который стал таким модным понятием: ах, если бы мы все были одного мнения, каким бы прекрасным был бы мир! Лессинг был очень решительным противником такого взгляда, он считал, что если все люди будут во всем согласны, чему тогда будет служить многомиллиардное человечество?! Будет вполне достаточно одного человека, потому что все новое, действительно захватывающее рождается из спора, дискуссии, диалога, разногласий. Так что мы в первый раз стоим перед таким новым вызовом.

Становится все более и более очевидно, что вопреки тому, что говорят политики, чтобы выиграть следующие выборы, этот процесс миграции не кончится. Ведь известно, что миграция – это неотделимый атрибут модерна. Она началась вместе с модерном и продолжается до настоящего времени.

Почему? Потому что есть две такие сферы, которые специализируются на производстве лишних людей. Одна,

которая не может не вырабатывать лишних людей, — это order building. Когда вы строите новый улучшенный порядок, некоторые категории людей неизбежно окажутся лишними, они — отбросы строительства нового порядка. Вторая сфера, которая тоже оставляет за собой много лишних людей, — это экономический прогресс, потому что он означает только одну вещь: то, что мы делали вчера, используя большее количество труда и людей, теперь мы делаем с меньшим количеством труда. И это означает, что некоторые способы добывания средств к существованию не могут выдержать состязания с этими более экономичными методами производства. Люди, которые занимались отживающими видами продуктивной деятельности, оказываются отвергнутыми, бракованными. Таковы два способа производства лишних людей.

Производство человеческих излишков началось с самых истоков модерна. В течение XVIII — XIX веков и первой половины XX века, согласно некоторым оценкам, более 60 млн европейцев иммигрировало на незаселенные, неосвоенные земли — в Южную и Северную Америку, Австралию и Новую Зеландию и т.д. Миллионы людей из России, Германии, Шотландии, Англии, Ирландии, Испании, Италии превратились в лишних людей, пополнивших колониальные армии, колониальную администрацию и целый пласт самих колонизаторов.

Европа, наши европейские предки обладали преимуществами перед людьми, которые борются с теми же проблемами сегодня. Они состояли в том, что пару столетий тому назад Европа была единственным местом на Земле, где уже освоили этот способ жизни, который мы называем модерном. Способ жизни, который не может не производить лишних людей. Остальные континенты, не знавшие еще модерна, своими предмодерными способами жизни не производили лишних людей, поэтому Европа была в состоянии найти глобальную развязку своих местных проблем. Производство лишних людей было местной проблемой Европы, и ее решению служила вся планета Земля, полная таких континентов и земель, которые,

с точки зрения более развитой, вооруженной Европы, были ничьими, девственными, ожидавшими прибытия людей, которые извлекут из них большую пользу.

Народы, страны, которые теперь вошли в фазу модерна, этого преимущества, конечно, уже не имеют. Глобального решения для их проблем не существует: они не могут послать свои армии в Европу, чтобы ее захватить. Нет таких земель, которые могут считаться ничьими, готовыми для колонизации. В результате эти новые присоединившиеся к модерну страны приговорены к неимоверному труду нахождения локальных, местных решений для глобальных проблем.

Потому что миграция сегодня — это проблема глобальная. Это не частная особенность Европы, а общечеловеческое явление. И миграция не кончится — это наше будущее, хотим мы этого или нет. В начале XXI века мы стоим перед необходимостью сделать то, что наши предки не сделали, потому что им не приходило это в голову, потому что они не чувствовали этой потребности — необходимости разработки новых способов существования в условиях постоянной разнородности культур и человеческих сообществ. А из этого вытекает, что единственным постоянным аспектом, атрибутом нашей действительности является непостоянство, а единственное, в чем мы уверены — это наша неуверенность.

Попробую суммировать то, что было сказано.

Речь шла о несоизмеримости целей и средств, задач и инструментов, которыми мы располагаем, чтобы добиться своих целей и исполнить наши задачи. Представьте, что вы находитесь в небе в самолете — и в какой-то момент замечаете, что кабина пилота пуста, а эти успокаивающие речи, звучащие в пассажирском салоне, не более чем запись, сделанная когда-то давно. Вдобавок вы узнаете, что не только аэропорт, где вы надеялись приземлиться, не построен, но даже и заявка на его строительство застряла где-то в офисе того учреждения, которое дает разрешение на посадку.

Это действительно трагическая ситуация, поэтому я решил написать книгу на тему текущего страха.

Потому что страх тоже текучий, мы не знаем, откуда он прибывает, он вытекает откуда-то, но мы не можем найти источник, мы не можем противодействовать накоплению такого страха. Такой страх, по-моему, — самый страшный. Наш период отличается от прежних времен интенсивностью этих страхов.

Я хотел бы закончить предвидением. Вообще-то я, конечно, не пророк, и нет у меня никаких пророческих способностей, но это предвидение кажется бесспорным.

Ваше поколение, уже не мое, будет мучиться с самой главной задачей: опять соединить мощь с политикой. В наших условиях это означает лишь одно: добавить положительную глобализацию к той отрицательной, которая уже состоялась или происходит, она уже почти закончена, а вот положительная глобализация еще не началась. Более того, она где-то народилась уже, но она не настолько видна, чтобы мы заметили, что она существует, и трудно указать пальцем на новые тенденции и явления, которыми изобилует наш мир и которые стали бы предтечей его будущего устройства. Но для XXI века, по-моему, это самая главная задача, и мы справимся с этой задачей — или попросту я не могу себе по-другому вообразить будущее нашего мира.

После выступления Зигмунта Баумана развернулась дискуссия. Многие слушатели лекции обращались к докладчику с вопросами, а также излагали свою точку зрения по затронутым им темам.

Борис Долгин: В самом конце, в метафоре с самолетом вы обрисовали такую степень трагедии, что это уже комедия. Это тот случай, когда трагедия и страх не очень ощущаются.

Мы вроде бы избавились от иллюзии стабильности, от иллюзии того, что когда-то мы закончим меняться, но до тех пор, пока человечеству казалось, что оно избавляется от старой иллюзии, это лишь означало начало новой иллюзии. Ощущение избавления от веры в Бога означало появление новых иллюзий, ну и так далее. Ожидаете ли вы, что это избавление от иллюзий повлечет за собой новые иллюзии?

Зигмунт Бауман: Я вам сказал, что построение нового порядка всегда включает стигму лишнего человека: некоторые люди не годятся для нового порядка. Предположение такое: жители этого по-новому упорядоченного мира будут новыми людьми. Совсем недавно, год тому назад, известный американский философ Френсис Фукуяма, который когда-то объявил «конец истории», написал, что правы были режимы прошлого, когда они хотели сотворить нового человека. Их бедой было не то, что они ошибались в целях, бедой было то, что они не имели современных усовершенствованных средств, чтобы это реализовать: brain washing, лагеря и т.д. – это примитивные, предмодерные средства сотворения нового человека. Теперь у нас есть геномика, это уже совершенное средство сотворения нового человека.

Если хотите знать, как этот новый человек выглядит... Если бы Фукуяма был прав... Я не знаю, перевели ли книги французского писателя Уэльбека на русский язык...

Борис Долгин: Да-да, перевели.

Зигмунт Бауман: ...Книга «Возможность острова». Я рекомендую всем ее прочитать. Это очень важная книга, это первая серьезная дистопия постмодерна. Она играет такую же роль, какую книги Оруэлла, Хаксли, Замятина играли в модерне. Она является совокупностью, синтезом всех явных и неявных страхов, которые преследуют наше поколение.

Борис Долгин: Спасибо. Еще один вопрос. Правильно ли я понимаю, что положительная глобализация в вашем понимании не подразумевает глобализации на уровне государств, не подразумевает каких-то новых международных объединений государств, но подразумевает какую-то самоорганизацию людей поверх государства?

Зигмунт Бауман: Да, это верно. Попросту говоря, любое государство, каким бы сильным оно ни было, не в состоянии бороться в одиночку с глобальными проблемами. И какая-то форма глобального устройства абсолютно необходима.

Какую форму это примет, не

имею представления. Если бы Аристотеля, который выдумал понятие «демократия», привезти в вашу госдуму или в английскую палату общин и показать ему, что делается, он бы сказал: «Да, это очень интересно: люди спорят, голосуют, принимают решения...». Но если бы ему сказали, что это демократия, он бы рассмеялся, потому что для него демократия – это собрание людей лицом к лицу на городском рынке. Споры непосредственные, участие непосредственное в принятии решения и выборы совета, так что если мы доберемся до глобального эквивалента наших демократических институтов на уровне государства, эти эквиваленты будут весьма несхожи с тем, что мы уже создали – не мы, наши отцы – на уровне национального государства. Каждый уровень интеграции местных советов, локальных городов ведет к национальному государству и от национального государства – к чему-то глобальному. Трудно себе представить некое общечеловеческое правительство, так как в таком случае некуда бы было бежать. Так что очень сложно себе сейчас представить, какую форму это примет.

Борис Долгин: Явно ООН не имеет никакого отношения к вашей концепции. Потому что если одно государство – один голос, вряд ли это похоже на всемирное представительство.

Григорий Глазков: Спасибо большое. Очень не хватает таких тем в нашем дискурсе.

У меня скорее реплика по двум вопросам. Во-первых, по поводу понятия «текущий модерн», а не постмодерн. А во-вторых, я бы предложил здесь экономический дискурс тоже уточнить, потому что вы его упомянули здесь очень кратко. Мне же он кажется очень важным, потому что понятие экономического роста, которое вы предложили, я не очень понял. Вы имеете в виду, что это понятие эпохи модерна. Я так понимаю: рост как безостановочный процесс – это понятие эпохи модерна. Но вы не сказали, как вы его понимаете в эпоху текущего модерна. Что происходит с понятием роста?

Просто для экономии времени выражу свою точку зрения.

Я пользуюсь термином «постмодерн», поскольку как экономист могу сказать, что «золотой миллиард» действительно не нужен. Скорее прогресс может привести к отрицательному экономическому росту. И что вы тогда скажете по этому поводу?

Зигмунт Бауман: Существуют естественные границы роста. Попросту мы находимся теперь в обществе потребителей и производителей. И посмотрите на статистику, которой мы меряем экономический рост, – она показывает только одну величину: количество денег, которое переходит из рук в руки, количество покупок и продаж. Статистика просто отражает логику экономики, которая опирается на потребительство. И проблема (среди прочих, которые должны быть поставлены в центр нашего мышления о будущем) состоит в том, как можно выработать такой способ разрешения проблем не через рынок, не через магазины и вещи, которые имеют цены. Если бы я делал доклад об обществе потребителей, я бы сказал, что нас натренировали в том, чтобы искать правильный ответ на всякого рода затруднения, даже личного характера (между родителями и детьми, мужем и женой, между соседями), средствами рынка. Именно рынок является посредником во всем, что бы мы ни делали.

Последний финансовый кризис наглядно показал, к чему это может привести. Почему люди по уши попали в долги? Потому что видение будущего по общему согласию должно было выражаться в том, что из года в год стоимость вашей квартиры, ваши заработки должны были расти. Нечего бояться долгов, потому что прирост благосостояния будет достаточным, чтобы выплатить все долги.

Это такой пузырь, который лопнул. Так это не действует, так это не работает. Все-таки, если бы так случилось, что мы бы выучили этот урок, тогда одна из иллюзий общества потребителей бы исчезла. Если это не состоится, если мы ничему не научимся, тогда вступят в действие другие ограничения экономического

раста – природные. Согласно всем оценкам, которые я нашел, если бы вся остальная часть планеты достигла уровня использования энергии и других редких материалов, который типичен для США, тогда нам нужны были бы 5 планет. А до сих пор есть только одна.

Борис Долгин: Задам один из вопросов, которые нам заранее прислали: продолжаете ли вы заниматься проблемами социального времени?

Зигмунт Бауман: Я бы не стал ставить вопрос именно так. Я бы сказал – социология времени. Я писал об этом: во-первых, мы живем теперь в том, что называется *hurried society*. Я написал о том, что в предмодерне наши предки, опираясь на агрокультурный опыт крестьянского общества, думали, что время циклично. Потом пришла современная эра, и циклическое представление о времени уступило место линейному пониманию времени: нет пути назад – мы идем вперед. Время – простая линия. Я предложил такую идею, что в наше время мы принимаем время, как принимались картины пуантилистов. Время состоит из пунктов. Особенно этот пункт, с которого начался Большой взрыв. Возникает то, что когда вы стоите лицом к новым приключениям, вы не можете заранее сказать, что из этого выйдет. Это очень странное явление, потому что, с одной стороны, оно уменьшает значение момента, а с другой стороны – расширяет возможные надежды, которые можно связать с таким моментом. Лучше было бы разрезать время на эпизоды, каждый со своим началом и концом. Так что если бы эпизодическая жизнь была возможна фактически, это было бы чудесно. Может быть, новая социальная жизнь – это время недоразумений. Мы живем так, что наша жизнь не является правдой, это эпизодичность. Этот пуантилизм.

Сергей Мозговой (Институт наследия): Каков ваш современный взгляд на марксизм как на учение о решении социальных проблем?

Зигмунт Бауман: Как бы это покороче сказать...

Были два обвинения, сформулированные весьма молодыми людьми, им еле-еле перевалило за двадцать лет. Они обвинили возникшую в те времена капиталистическую систему в двух грехах: один был по природе экономический, второй – моральный. Первый: чтобы достичь какой-либо цели, уничтожается много материалов – слишком расточительная система. И второй – это весьма несправедливая система, это просто-таки злодейская система по существу, потому что ценности, производимые одними людьми, попадают в руки других людей и превращаются в капитал, потом служат инструментом принуждения и обращаются в итоге против их создателей. Эти два обвинения, конечно, актуальны, если вы посмотрите на ситуацию в мире.

Третье достижение Маркса и Энгельса состоит в том, что они первые заговорили о растапливании солидных вещей: все, что твердое, расплывается. Именно это они считали великим достижением капитализма, который очищает грунт под строительство нового лучшего общества.

Давным-давно я пришел к выводу, что предсказывание будущего и совершение ошибок – это братья-близнецы, как сказал бы Маяковский. Вы не можете предвидеть будущего, не совершая ошибок. Хуже всего, что когда вы их совершаете, вы не знаете, что это ошибки. Вы узнаете об этом слишком поздно. Вы знаете, что все действительно важные события XX века, которые изменили направления истории, были непредвиденными – их никто не предвидел.

Совсем недавно существовала одна отрасль науки, которая превосходила все другие области знания, – эта наука называлась советология, до недавнего времени очень мощная, очень влиятельная наука на Западе. И толпы мечтали о том, чтобы попасть в эту науку, потому что это была единственная отрасль знания, которая никогда не испытывала недостатка в деньгах. В то время, как

мы боролись за несколько тысяч долларов на следующий исследовательский проект, советологи просто тонули в деньгах. У них были и новые кафедры, и институты, и конгрессы.

И что? Ни один советолог не предвидел краха СССР. Господствующими теориями было две: одна – теория конвергенции (капитализм и коммунизм будут все более и более друг другу подобны и в конце концов будет одно устройство мира), и другая теория, противоположная этой – МАТ (*mutually ashore destruction* – взаимообеспеченное уничтожение) с помощью ядерного вооружения. Несмотря на существование этих двух противоположных теорий, никто не предвидел того, что коммунизм кончится не взрывом, а просто внутренним разложением.

Борис Долгин: Вопрос социолога и правозащитника Асмик Новиковой: ваша реконструкция Холокоста предполагает, что это было сочетанием некоторых регулярных закономерностей общества, которые просто соединились вместе. Соответственно, вопрос: чего сейчас не хватает, чтобы эти же характеристики соединились в какой-то аналог Холокоста?

Зигмунт Бауман: Проблема, на мой взгляд, таится в другом месте, но я согласен с вами, что это было случайное сочетание (могло так не случиться). Встретились нормальные элементы ежедневной жизни общества модерна с необыкновенными явлениями – такими как тоталитарные режимы, ничем не ограниченные диктатуры, мобилизующие все технологические возможности общества для концентрированного преступления.

Для меня главным уроком Холокоста является не то, что это может еще раз случиться, а если я был бы лично в специфических условиях, мог бы я участвовать в совершении этого криминального акта, массового убийства? И последнее: результаты нескольких исследований показали, что не является проблемой то, что чудовища делают чудовищные вещи, как раз случается так, что есть

хорошие средства предвидеть, кто является чудовищем, и обезоружить его.

Трагическая трудность состоит в том, что следует из всех исследований массовых убийств: поведение людей, которые были обязаны участвовать в этом – и в экспериментах, и в самих преступлениях, – напоминало кривую Гаусса. Существовали малые группы людей: одна сопротивлялась, другая рада была следовать своим инстинктам. Громадное большинство – это центр, колокол кривой нормального распределения – не уклонялось ни в одну, ни в другую сторону, не сопротивлялось, попросту исполняло то, что исполняли все вокруг. С точки зрения жертв, конечно, это было все равно: делались ли эти чудовищные вещи с энтузиазмом или без энтузиазма. И это самый страшный вывод.

Если вы читали книгу Ханны Арендт, то что меня поразило больше всего – так это как самые знаменитые психиатры, которые были наняты израильским судом для исследования личности Адольфа Эйхмана, признали, что он был вполне нормальным человеком, он мог бы быть примером хорошего гражданина, отца, мужа. Сегодня мы все соседи, встречаемся, здороваемся. Я пришел к выводу, что если бы один из них, из моих соседей, занимался тем, чем занимался в свое время Эйхман, я бы ни за что не поверил. Как бы я узнал, что он в этом участвовал?

Вопрос из зала: Идентичность сложно устроена. Есть наследственная, есть воспитываемая и т.д. Как обеспечивается единство идентичности, складывающейся из множества кусочков?

Зигмунт Бауман: Ну, вы знаете, французский философ Рикер делил идентичность на два явления: отличная от вас, от всех других, единственная и неповторимая единица, вторая идентичность – это идентичность вас с вами несколько десятков лет назад. Например, для меня является загадкой, идентичен ли сегодняшний 86-летний Зигмунт Бауман Зигмунту Бауману, жившему 50 лет назад.

Кризис идентичности теперь состоит в том, что так как большинство

общественных задач осуществляется через магазины, так же и отличия вас от других можно достигнуть с помощью магазинов. Трудностью является поддержание этого. мода меняется очень быстро, господствующие взгляды о том, что такое хорошо и что такое плохо, меняются быстро, открывается Интернет – все меняется, заголовки газет служат цели стереть из памяти заголовки вчерашнего дня. По-моему, то, что происходит сегодня, – это не то, что людей волнует проблема идентификации, нет, их в большей степени волнует проблема реидентификации: как сохранить возможность стать каким-то другим. В реальном понятии идентичности сегодня уживаются два желания: я хочу быть собой и я хочу быть кем-то иным.

Раньше люди рождались в одном сообществе и умирали в этом же сообществе, очень мало путешествовали. Все были друг с другом знакомы. Один из социологов, занимающийся проблемой привязанности, пришел к выводу о том, что биологическая эволюция привела нас к возможности, что предельное число приятелей, которых мы можем завести, равно 150. Один молодой человек, пользующийся Facebook, хотел убедить меня, что он в течение одного дня он прибавил себе 500 приятелей. Мне 86 лет, я вас уверяю, что за всю свою жизнь я не смог приобрести 500 приятелей.

Но дело еще в том, откуда это количество: 150? Потому что в примитивном обществе 150 – это было все, что нужно, чтобы жить, потому что шансы, что вы встретите кого-то другого, были невелики. Теперь ситуация немного другая: вы не только живете в городе, в котором живет 11 млн других жителей, но достаточно пройти 100 метров по улице, чтобы встретить 100 или более абсолютно незнакомых людей. Так что вы все время бомбардируетесь впечатлениями от других. Можно ли расширить в таких условиях эти биологически сформированные умения приблизить к себе больше, чем 150 друзей? Да, и технология служит этой цели. Конечно, при этом глубина взаимоот-

ношений значительно меньше, чем в ситуации, в которой количество ваших близких людей очень ограничено.

Вопрос из зала: Не происходит ли при этом диффузии личности?

Зигмунт Бауман: В каком смысле? Я не очень понимаю! Есть феномен известности, предметы публичного культа, которые известны всем вокруг, ибо они известны всем своей известностью. Чем больше людей приглядываются к ним в кино, на телевидении, в газетах, тем больше их влияние. Не случайно их нанимают для рекламы продуктов. Я не слышал о понятии диффузии личности. Это влияние созданных искусственно образцов поведения и жизни на формирование и реформирование идентичности. Идентичность – это не только вопрос сохранения, но и вопрос изменения, реформ.

Борис Долгин: Еще один вопрос от наших читателей: в какой мере вы ощущаете себя польским философом? В какой степени на вас повлияла ситуация человека преследуемого, протестующего? В какой степени обстоятельства жизни влияют на философию?

Зигмунт Бауман: Я знаю очень много явлений, которые я бы хотел исследовать и говорить о них. Я – самая неинтересная среди этих проблем.

Не знаю, можно ли чему-то научиться из того, что я пережил лично как индивид. Что касается Польши, то я – поляк, я родился поляком, и есть вероятность, что умру поляком, потому что недолго осталось ждать. Был 20-летний перерыв в моих личных отношениях с Польшей; я не переставал читать, интересоваться тем, что происходит на моей родине, но моим коллегам было трудно со мной общаться, потому что писать письма было опасно. Это неинтересно, это просто мои частные опыты, которые не повлияли...

Хотя... Нет, извините, повлияли. Это влияние выразилось в том, что я занялся проблемой «чужого» и социального производства чуждости, инаковости. По-моему, это очень важная проблема, стимулом к изучению которой стал личный опыт.